



УДК 128
ББК 87.52
Т41

ТИМОФЕЕВА О.
РОДИНА
М.: СИГМА, 2020 — 64 С.

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА И ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ
Иван Шпак

КОРРЕКТОР
Татьяна Торговичева

ISBN 978-5-6045051-0-6

© Оксана Тимофеева, 2019
© Иван Шпак, 2020
© сигма, 2020

Издание охраняется законом Российской Федерации об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части без письменного разрешения издателя запрещено.

Оксана Тимофеева
Родина



Оксана Тимофеева
Родина



Σ
сигма
Москва
2020

моей маме

Меня ты поймешь,
Лучше страны не найдешь.

Жанна Агузарова

СОДЕРЖАНИЕ

КОЖЕВНИКОВО.....	13
ЧУ.....	19
СУРГУТ.....	29
КАК БЫТЬ ОТСЮДА.....	37



КОЖЕВНИКОВО

Я из Кожевникова. Это село в Сибири, на берегу Оби. Там познакомились мои родители, и там я родилась. Через год мы уехали оттуда в Казахстан, поэтому Кожевниково я совсем не запомнила. Никогда не думала об этом месте и не искала его на карте. Село Кожевниково Томской области существовало для меня исключительно в качестве отметки в паспорте о месте рождения. Я даже не была уверена, что оно до сих пор существует: многие сибирские деревни еще до развала СССР опустели и снова стали лесом.

Но Сибирь я помню. Моя семья оттуда. Прабабушка Настя жила в деревне под Кемерово. Во время Гражданской войны она помогала коммунистам, партизанам, сражавшимся против армии Колчака. Однажды белые выстроили всех жителей деревни в ряд и попросили выдать того, кто возил продовольствие в лес. Крестьяне сгруппировались так, что Настя оказалась позади толпы и смогла бежать. Она бежала, пока не увидела стог сена, и спряталась, зарывшись в него. Белые гнались следом, увидели стог и стали втыкать в него штыки и вилы. Настя сидела в сене, не шелохнувшись; острия белогвардейских штыков едва не касались ее тела. Но сено сжалось и прятало мою прабабушку: оно тоже было за партизан.

Когда моей маме исполнилось 13 лет, она уехала из деревни в город, чтобы окончить школу, а после школы поступила в Томский университет. Встретила там первого мужа, от которого родилась моя сестра Лена, и там же развелась, а потом нашла работу в Кожевникове — корреспондентом в сельской газете — и пере-

ехала. Ребенком я тоже бывала в Томске, но в основном проездом. Кажется, это вообще первый в моей жизни город. Году в 1984-м мы останавливались там на несколько дней, и я увидела, как серый лед шел по реке, — а до этого через Томск меня возили на поезде в маленькую деревню Балагачево, к бабушке с дедушкой. Они жили в деревянной русской избе с большой печью, выращивали овощи и цветы и держали огромную, сизую, как голубь, корову по имени Малышка. Утром все деревенские коровы уходили пастись, а на закате бабушка звала громким голосом: «Малышка, Малышка!» Вечером после бани передо мной ставили большую железную кружку свежего коровьего молока.

Раз в день через станцию Балагачево проходил поезд из Томска в Белый Яр, а вокруг плотной темно-зеленой стеной стоял лес. Километры непроходимой тайги. Деревья невероятно высокие, почти до неба. Позднее, уже в зрелом возрасте, у меня возникла гипотеза, что, скорее всего, сибирские деревья казались мне такими высокими потому, что сама я была маленькой, — однако эта гипотеза не подтвердилась. Деревья там и правда большие.

Я убедилась в этом, когда, впервые после 1985 года, снова оказалась в наших краях — с недолгим рабочим визитом. В 2016 году немецкая художница и кураторка Ханна Хурциг пригласила меня в Новосибирск поучаствовать в крупном перформансе при поддержке местного Гёте-Института. В проекте под названием «Разговоры из темной комнаты» участники из самых разных контекстов обсуждали очень необычные темы в очень необычном формате: например, интеллигентской кухни, когда люди сидят за столом, пьют чай и говорят о судьбах мира, или лекции для одного слушателя, который заранее не известен. Я должна была участвовать в кухонных дискуссиях о русском акционизме и дважды читать философскую лекцию о зомби-апокалипсисе — один вечер для одного человека, другой для другого. Туда же пригласили и моего старого товарища Игоря Чубарова. Незадолго до поездки мы увиделись на конференции в Москве; Игорь рассказал, что после перформанса собирается с другом Володей поехать на машине в Томск; я согласилась присоединиться и открыла карту.

Расстояние между Томском и Новосибирском 300 километров. По сибирским меркам это всего ничего. Если ехать по старой дороге, через Колывань, на третьем часу машина должна проезжать Кожевниково. Село, указанное в моем паспорте как место рождения. Родина.

Уже в Новосибирске я волновалась и суетилась, как маленькая, готовясь к предстоящему путешествию. После двух дней публичных кухонных разговоров и лекций мы выехали из Новосиба на попутной машине. Женщина за рулем любезно согласилась повезти нас по старой, более длинной дороге. Я не могу этого помнить, но знаю: когда-то я уже ездила по ней. В 1978 году. Новой дороги тогда еще не было, и до Кожевникова приходилось добираться именно так, автобусом из Томска в Новосибирск и обратно. Как и все дороги в Сибири, эта оказалась плохой, поэтому ехали мы медленно. Чем ближе к Томску, тем выше становился лес. Отрезки леса перебивали яркие майские луга и свежевспаханные черные поля, а над ними кружились ястребы. Кое-где на обочинах дороги стояли люди в болотниках и продавали березовый сок.

На подъезде к Кожевникову пасторальный пейзаж взорвался солнечными брызгами: изумрудная тайга неожиданно сменилась огромной светлой березовой рощей. Моя забытая, непризнанная родина меня поразила. Высоченные частые белые стволы казались прозрачными. Ни сосен, ни елей, ни дубов — одни только березы, буйно распускавшиеся майской зеленью. Я не вру: верхушки натурально исчезали где-то на самой границе неба. Роща окружала большое русское село. На повороте красовался лозунг, появившийся здесь, наверное, в то же время, что и я: «Здесь, на Оби, на лучших землях Сибири, мы строим город-сад и приглашаем вас к участию!»

Я позвонила маме в Петербург и спросила, не помнит ли она, по какому адресу мы жили в Кожевникове. Мама растерялась: она не помнила названия улицы или номера дома. В селе есть одно пятиэтажное здание, за ним то ли сарай, то ли стайки для животных и двухэтажный дом, прямо у рощи. Мы спросили у прохожих, где пятиэтажка, и быстро нашли ее неподалеку от глав-

ной дороги. Вот она, за ней и правда ветхие деревянные стайки, а дальше — длинный серый двухэтажный дом в красную полоску, Комарова, 13. У подъезда сидели люди; я спросила, но наших никто не помнил.

За домом действительно сразу начиналась та самая роща, точнее, переходящий в березовую рощу парк с очень старыми, уже местами заржавевшими детскими аттракционами и плакатами: «Люди! Пожалуйста, будьте культурны! Бросайте мусор только в урны!», «Даже заяц знает: тот, кто по парку ездит, правила благоустройства нарушает!». Среди аттракционов обнаружались и самые главные и любимые советские качели — лодочки. Каким-то чудом они до сих пор работали; я забралась на одну из лодочек и испытала детскую радость полета. Мы еще прошлись по тропинкам среди ржавых качелей и белых берез. Столько света, столько сияния и праздника в этой майской роще — я как будто вспомнила то, чего не было, и вот теперь оно у меня есть.





ЧУ

Я из Чу. Это маленький городок в южном Казахстане, узловая железнодорожная станция на линии Турксиба Алма-Ата — Тараз. Теперь она называется по-казахски, Шу, но в советское время это была станция Чу, на реке Чу, в Чуйской долине, Джамбульской области. Это место славилось на весь Советский Союз своей дикой коноплей, которую здесь называют анашой или шайтан-травой, но мне оно запомнилось совсем другим. В мае степь зацветает желтыми тюльпанами и алыми маками, а небо над ней — бирюзово-голубое. Такого особенного оттенка больше нигде нет, только там. Чуйская долина — это оазис, изобильный розами, вишней, виноградом и, конечно, арбузами. Чуйские арбузы — лучшие на земле. Как-то раз маме в подарок привезли с бахчи целый грузовик — тогда мы всю комнату завалили арбузами и каждый день выкатывали из нее по одному.

Когда мы там жили, по улицам ходили ослики с повозками. Иногда цыгане ездили на лошади и оглашали улицу криками: «Бутылка! Бутылка!» Им выносили пустые бутылки, а они взамен давали детям «петушок» — популярный в СССР леденец на палочке. Чабаны выходили в степь с большими отарами овец. Летом воздух, в котором смешивались запахи роз, анаши, ослиного помета, бурсаков и хлопкового масла, плавился от жары, и я теряла сознание. Окна заклеивали газетами, потому что солнце палило как сумасшедшее. По вечерам оно скатывалось огромным ярко-красным шаром. Помню легкое землетрясение: моя сестра играла на пианино полонез Огинского, когда вдруг все в комнате

заходило ходуном, и напуганный отец прибежал с балкона, который, как он думал, вот-вот обрушится.

Дом моего детства по улице Энгельса стоял на краю города. Окна квартиры на третьем этаже выходили на степь — сотни километров без единого населенного пункта. Я любила смотреть в окно. Между бесконечностью степи и бесконечностью неба тянулась синяя полоса горизонта. Одно из моих самых первых воспоминаний — год, наверное, 1981-й или 1982-й, мама держит меня на руках и говорит, показывая в окно, что там, за степью — Афганистан. Зимой степь была серой, а весной становилась нежно-желтой от тюльпанов, которые мы с мамой рвали, приносили домой охапками и ставили в трехлитровые банки.

В степи находился один странный водоем. Мы называли его река Понура, но на самом деле это, конечно, была не река, а сточные воды, какие-то вязкие, фиолетово-черные отходы нефтепродуктов. Бросишь в нее спичку — и Понура загоралась. Прямо как в детском стихотворении Корнея Чуковского, которое мы все учили наизусть: «А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли». Может быть, дело даже не в спичках — неужели лисички в самом деле могли подойти так близко и бросить их в эту огненную воду? Может быть, Понура просто загоралась от жары, но факт остается фактом: она горела, как нефть, с размахом, и над огнем высоко, закрывая небо, расплзались тучи плотного, густого, абсолютно черного дыма. В степь выходили окна двух комнат, в дверном проеме между которыми висели детские качели. Я раскачивалась на качелях и, наслаждаясь полетом, наблюдала за катастрофическим зрелищем то из одного окна, то из другого.

В Казахстан, на тот момент одну из 15 республик СССР, мои родители попали по распределению. Так называлась советская централизованная система трудоустройства молодежи: занятость была всеобщей и обязательной, и ответственность за нее несло государство, находившее для людей рабочие места в самых разных точках Союза. Кто только не жил в Чу — казахи, русские, немцы, уйгуры, цыгане, курды, евреи, киргизы и т. д. Мы нико-

гда бы не уехали оттуда по собственному желанию. Никто не хотел уезжать из Чу. Но в 1985 году, когда началась перестройка, национализм принял дикие обороты, русских стали преследовать, и оставаться было опасно. Сорвав первое попавшееся объявление по обмену квартир, мы бежали на Север и сожгли мосты.

Ничего больше не связывало нас с Казахстаном, кроме воспоминаний — степь, плавающий от жары воздух, горящая Понура, цветы. Маков я с тех пор не видела, вернее, видела однажды, на Тенерифе, но совсем мельком, из окна автобуса, — а вот скромные букеты желтых тюльпанов иногда попадались на глаза, вызывая сильное волнение (это мое печенье «Мадлен» — простой элемент, обладающий невероятной силой мгновенно воскрешать чувства из прошлого). В 1991 году Советский Союз прекратил существование, и Казахстан провозгласил независимость. В пространстве и во времени вдруг выросла граница, обрубившая мои корни в два удара: государства, в котором я родилась, больше не существовало, а место, которое считала своей родиной, стало заграницей.

Я всю жизнь тосковала по Чу, но не думала, что когда-нибудь смогу снова там побывать; это казалось несбыточной мечтой. Когда мне исполнилось 38 лет, кое-что поменялось. Я поняла, что уже взрослая женщина, а быть взрослым — значит делать что хочешь, но не то, что думаешь, что хочешь, а то, что хочешь на самом деле, о чем мечтаешь. Я задалась вопросом о том, какие вообще у меня есть мечты, и провела ревизию, отделила настоящие от ненастоящих. Ненастоящие, квазимечты — это нарциссические фантазии и амбициозные планы. В центре этих фантазий — я сама, вернее не я, а галерея моих идеальных образов. Я в них красивая, всеми любимая, признанная, уважаемая, желанная, стройная, знаменитая и иногда даже богатая. Все эти фантазии можно легко сдувать, как пыль. Они и есть пыль. Настоящие мечты — сокровенные, не связанные ни с успехом, ни с признанием. Это мечты не о себе; в их центре всегда что-то существенное, что меня превосходит и поглощает; мой собственный образ исчезает из поля зрения. Например, мечта о море, о космосе или о доме.

Самой настоящей оказалась мечта о родине: она никуда не девалась, всегда оставалась со мной, просто под пылью нарциссических фантазий ее присутствие было едва различимо. Разве теперь есть что-то, что могло бы всерьез помешать мне осуществить эту мечту? С удивлением я обнаружила, что нет. Незадолго до этого мы подружились с казахстанским философом Кульшат Медеуовой, которая пригласила меня с лекцией в Астану и организовала визит в Алма-Ату. Она же помогла купить билеты до Чу, встретила меня и сопровождала на протяжении всей моей недельной поездки в Казахстан, состоявшейся в мае 2016 года (Кожевниково тоже было в мае — получается, что за один месяц я посетила сразу две родины).

В Астане я выступила с лекцией «Сова и ангел», сравнив двух летающих существ — сову Минервы, о которой Гегель писал в предисловии к «Философии права», и ангела истории Вальтера Беньямина. И сова, и ангел появляются на месте свершившейся катастрофы или свершившегося времени слишком поздно, когда уже ничего не исправить. Их взгляды направлены не в будущее, а в прошлое, которое мудрая гегелевская сова хочет понять, а впечатлительный ангел — искупить, воскресить мертвых. Обе фигуры на первый взгляд меланхоличны, но на самом деле нет: и сова, и ангел пребывают в потоке неочевидного счастья, или наслаждения, следы которого обнаруживает их парный психологический портрет. На лекцию пришел казахстанский философ Жабайхан Абдильдин, известный своими исследованиями в области диалектической логики и в свое время друживший с Эвальдом Ильенковым. Он был очень дружелюбен и ответил на мое выступление небольшой речью, призывая студентов читать классическую немецкую философию. «Если вы поймете Гегеля, — сказал он, — вы поймете все».

Поезд из Астаны прибывал в Чу рано утром. Проснувшись за три часа до прибытия, я смотрела в окно на серую, пустую степь, сопки и длинное озеро Балхаш. Когда-то мы купались в Балхаше. Вспоминаю лето, когда мама работала в отделе культуры Чуйского Райпрофсожа (Районного профсоюза железнодорожников),

и ей поручили руководить вагон-клубом. Это был голубой железнодорожный вагон, внутри приспособленный под кинотеатр, который можно было прицеплять к любому составу. Мы колесили на нем все лето по степи, останавливались у озера или в глухих казахских аулах, чтобы показывать их редким жителям советское кино. Аулы утопали в песке, а вода в Балхаше была цвета неба.

Поезд без остановки пролетел станцию Чиганак. Именно туда в 1979 году наша семья приехала из Сибири на строительство Южно-Казахстанской ГРЭС и только потом уже перебралась в Чу. В Чиганаке мы жили в бамовском домике (так назывались наспех построенные деревянные бараки для тех, кто приезжал на неосвоенные земли, на большие советские стройки), питались сайгаками, на которых отец охотился в степи, и высушенной на солнце рыбой из Балхаша. Воду тоже брали из озера, выгребали из нее мусор, отстаивали и пили. Кроме озера и серых сопок, в этом месте не было ничего. Я не помню, а моя старшая сестра помнит Чиганак и говорит, что он очень похож на описанный знаменитым советским писателем Чингизом Айтматовым Буранный полустанок. Правда, на самом деле Буранный находится в другом месте, в северо-восточной части Казахстана, зато в романе «Плаха» Айтматов описывает ту самую Чуйскую степь, к которой уже приближался наш поезд.

От Чиганака до Чу более двух часов. Все это время я смотрела в окно на однообразный серый пейзаж. И вдруг он резко поменялся. Степь вспыхнула алыми пятнами. Я не сразу поняла, что это маки, вглядывалась, не могла поверить. Под бирюзовым небом раскинулась долина, а в ней — оливкового цвета река, пирамидальные тополя и еще какие-то невысокие серебристые деревья, при виде которых у меня забило сердце: я видела их только там, в детстве, и больше никогда и нигде, и никогда не вспоминала про них. Я не знаю, как они называются¹.

¹ Мама говорит, что это, скорее всего, карагач.

Родина встретила меня тем самым сладким запахом, который я пыталась вспомнить тридцать с лишним лет, но все время путала с какими-то другими. В девять утра уже светило ослепительное солнце. В привокзальном туалете не было перегородок, только отверстия в полу, над которыми женщины сидели в ряд, обменивались шутками и смеялись. Мы с Кульшат вышли в город. Улицы переименовали, и где теперь наша Энгельса, можно было только гадать. Я изо всех сил прислушалась к себе: сохранилось ли во мне какое-то внутреннее чувство? Куда идти? Родной запах как будто разбудил память моего детского тела, способного ориентироваться именно в этом пространстве. Мы же с мамой часто ходили со станции домой. Кажется, немножко налево и прямо. Через парк. Точно, вот он, парк Железнодорожников, утопающий в чайных розах. «Обходите его стороной, там наркоманы!» — предупреждает меня мама по телефону.

Мы выходим на улицу Кунаева. Я пока не узнаю, но чувствую, что идем правильной дорогой. Простые сельские дома постепенно сменяются невысокими ветхими городскими строениями. В этом районе довольно зелено. Где-то здесь должен быть красный кирпичный дом, в котором мы жили до переезда на Север. Не тот первый, выходящий окном на степь, а второй, на той же улице. Мы с мамой перебрались в него, когда нас бросил отец; очень не хватало денег на жизнь, пришлось разменять трехкомнатную квартиру на маленькую двухкомнатную с доплатой. Оказывается, он четырехэтажный, я не пяти, как я думала.

И первый наш дом, Энгельса, 2, оказался четырехэтажкой, хотя я была абсолютно уверена, что в нем пять этажей. Он стоял совсем рядом, буквально через дом. Там вообще все рядом. Я зашла в подъезд, но не решилась постучать в квартиру. На замазанном краской от солнца окне подъезда кто-то оставил надпись: «Товарищи, курите, мусорите, бейте стекла у себя дома» — и нарисовал цветочки. Во дворе росли маки. Кульшат заметила рисунок на торце дома: большие черные крылья ангела в человеческий рост и нимб. Я встала к изображению, так что нимб оказался над головой и крылья там, где надо, и сделала фото. Это же мой ангел.

Я почувствовала, что впервые по-настоящему, до слез, безмерно счастлива.

За домом, как и следовало ожидать, начиналась степь, но ее не было видно из-за какой-то насыпи, на которой паслись лошади. Не решившись идти дальше, мы вернулись на улицу Кунаева. Прохожие — их тут совсем мало, но все очень приветливые — спросили, что мы ищем. Нет ли там, неподалеку, через дорогу, школы? Есть, конечно, школа Макаренко. Поинтересовались, откуда мы. — «Я ОТСЮДА». — «Чуйские?» — «Да».

Мы пошли к школе, где мама работала учительницей. Это была одна из нескольких ее работ: мы жили бедно, ей все время приходилось совмещать. Иногда она брала меня с собой на уроки. Я сидела на задней парте и грызла огромный спелый помидор, с восхищением глядя на восьмиклассников в школьной форме. Удивительно, но вдруг навстречу нам с Кульшат вышла группа ребят в точно такой же советской форме, только фартуки у девочек были не черные, как в будни, а праздничные, белые. Мы как будто машину времени угнали и вернулись в 1984-й. Школьники шли строем и пели «Катюшу». Я же тоже пела эту песню вместе с другими детьми — в детском саду, который находился где-то за школой. Оказалось, что это постановка: школа готовилась к представлению в честь Дня Победы 9 мая. Какой-то мальчик подошел к нам и спросил, не собираемся ли мы в поход (на нас были рюкзаки).

Следующей точкой был шумный базар, где я купила яркую корпешку (традиционное казахское лоскутное покрывало) и маленькую старую пиалу с красным орнаментом. Что-то из Чу, что будет всегда со мной. Материальные предметы как неоспоримые доказательства того, что мне не приснился этот день. Никогда нельзя быть до конца уверенной в реальности своих воспоминаний, это я знаю. Но вещи организуют канал связи с прошлым, который включается, когда мы смотрим на них, прикасаемся к ним. Когда сидим в Петербурге в 2019-м и пьем чай из маленькой чуйской пиалушки советских времен.

После базара мы отправились в соседнее село Новотроицкое (сейчас это аул Толе Би), где мама работала в теперь уже несуществующей газете «Чуйская долина». Здание редакции газеты не нашли, зато погуляли по новой аллее Славы, созданной в честь победы в Великой Отечественной войне. Аллея тянулась до реки Чу, на том берегу которой купались дети, а на этом паслась огромная отара овец и коз. Я подошла слишком близко, и животные побежали за мной, пока чабан на лошади не развернул их обратно.

Затем поехали на другую сторону железной дороги. В этих местах мы с мамой, наверное, совсем не бывали. Чудесная, волшебная долина. В одной из юрт при дороге подавали свежий кумыс. Мы бродили по степи, красной от маков. Были еще какие-то совсем тонкие растения и мелкие белые цветы, но сквозь эту паутину было хорошо видно, какая сухая, потрескавшаяся здесь земля. Я потрогала ее и сказала себе: «Это моя земля». Хотя, конечно, строго говоря, она не моя. По паспорту моя земля русская, а эта казахская. Граница между той и этой землей проходит не только через степь. Она проходит через мою жизнь, разделяя ее на две половины. Первая половина здесь, где я сейчас, а вторая навсегда осталась там, среди цветов.





СУРГУТ

Я из Сургута. Это нефтяной город еще не за полярным кругом, но уже в зоне вечной мерзлоты. Как и Кожевниково, он стоит на Оби, но значительно севернее. Мы перебрались туда из Казахстана в 1985 году; мне было семь лет. Ехали с мамой на поезде через весь Казахстан, а потом через всю Сибирь с юга на Север. Серая степь с горизонтом долго убегала от нас за окном поезда, пока не убежала окончательно.

Сургут встретил нас суровым пейзажем переходящей в тундру тайги. Самыми странными казались голые, скрюченные, будто застывшие в шаманском трансе, карликовые сосны на желтых торфяных болотах. Это было в июне. После изобильно цветущего в это время, залитого солнцем чуйского оазиса Север казался диким и унылым, да еще и белые ночи. Они там и правда белые. Ни солнца, ни луны, а только совершенно белое небо — так мне это запомнилось. Мы же все бросили в Казахстане, приехали ни с чем. У нас и занавесок не было, и в первое время не на что было их купить. Лежали вчетвером (мама, сестра, я и отец, который ненадолго вернулся в семью, чтобы затем уйти окончательно) в единственной комнате нашей новой крохотной квартиры в доме-малосемейке по улице 50 лет ВЛКСМ, смотрели в эту непривычную белизну ночи и не могли уснуть из-за комаров.

Все мои школьные годы прошли в этом убогом сером доме без балконов. Из окна открывался вид на точно такой же дом и помойку, в которой нищие и бездомные рылись в поисках еды. Смотришь в окно — а там у огромного мусорного контейнера человек лежит, то ли мертвый, то ли пьяный. Еды вообще

было очень мало, даже в богатых домах, особенно в самом конце восьмидесятых — начале девяностых, но мама всегда умудрялась что-то доставать — мясо, масло, сахар, маринованные сладкие перцы, вишневый компот, сгущенку. Приехав в Сургут, она сразу же устроилась в редакцию газеты «К победе коммунизма» (которую через несколько лет, когда власть поменялась и слово «коммунизм» стало ругательным, переименовали в «Сургутскую трибуну») и завела много новых друзей.

В августе мы ходили в лес за черникой, потом за брусникой, а в сентябре, по первому снегу, — на болота за клюквой. Клюква так интересно растет: как будто ее кто-то раскидал по влажному желтому мху. Садисься и подбираешь с кочки красные бусины, потихоньку дуря от запаха багульника. Дома их пересыпали сахаром и убирали в деревянный ящик за окном, который служил зимней морозильной камерой. Если в Чу снега вообще почти не было (за исключением аномально холодной зимы 1984 года, когда все завалило и у нас полопались батареи), то в Сургуте он выпадал уже в сентябре и лежал до самого мая. В зимние месяцы термометр иногда опускался до минус сорока восьми: в такие дни видимость была нулевой из-за густого тумана; занятия в школе отменяли.

Я быстро привыкла к долгим, темным и морозным зимам, к тому, что нужно надевать сразу двое теплых штанов. Стала октябренок, потом пионером, носила алый галстук, который гладила шипящим утюгом каждое утро перед школой. Мне не нравилась советская пионерская форма — белая рубашка и серая юбка до колена. Хотелось носить современную, модную, очень короткую юбку-бочонок, в каких выступали певицы из телевизора. У меня были две такие. Одну мама сделала из старых джинсов, а вторую я сшила своими руками на уроке труда в шестом классе. В августе 1991 года я пошла в этой самодельной юбке в гости к школьной подруге, которая тоже жила на улице 50 лет ВЛКСМ. Подруги не оказалось дома, а мне в тот вечер не повезло: меня изнасиловали. Я вернулась домой поздно и в слезах; мама написала заявление

в милицию; мужчину быстро поймали и арестовали, а мою маленькую юбку положили в специальный пакетик для улик.

Через десять дней после этого происшествия в Москве начался так называемый августовский путч, за которым сразу же последовала отставка Горбачева, роспуск компартии и окончательный распад СССР. 22 августа над Белым домом подняли новый флаг вместо красного советского — российский триколор. В сентябре снова начались занятия в школе, но пионерской формы уже не было. Мы оказались в новой стране. Каким-то образом эти два события, личное и политическое, для меня слились в одну точку невозврата: советское детство закончилось враз, как будто бы глухая стена вдруг выросла, за которой осталось навсегда замурованным прошлое с его надеждами, ожиданиями, вопросами.

Начало девяностых в Сургуте было страшным. Насилие, смерть, наркотики, алкоголь — все эти вещи стали для меня обычным, каждодневным опытом. Мои 13, 14, 15 лет смешались в один тревожный комок, из которого надо было как-то выплести себя. Мне это, в конце концов, наверное, удалось, но не до конца. Какое-то жуткое существо без лица и имени родилось в это время и стало жрать меня изнутри. Примерно такие у меня были приступы тревоги: как будто его желтые зубы-щупальца сжимались прямо в груди — мое же собственное безумие и жестокость. Я уехала из Сургута летом 1995 года, сразу после окончания гимназии. Вдвоем с одноклассницей мы отправились в Москву. Мама провожала нас на вокзале и долго махала с перрона, когда поезд тронулся. Я почувствовала освобождение, решив про себя, что больше сюда не вернусь.

Возвращалась потом, конечно, но не насовсем, не жить: приезжала на каникулах, подрабатывала летом у сестры на радио и у мамы в редакции отраслевой газеты «Газовик». Со временем мама тоже перебралась в Москву, и мои поездки в Сургут прекратились, но мрачный серый дом по улице 50 лет ВЛКСМ никак меня не отпускал: в повторяющихся кошмарах я снова и снова обнаруживала себя в нем, открывающей двери в темноту страшной квартиры, выглядывающей в окно лестничного пролета, ле-

тающей по этажам снизу вверх. Из этого подъезда нет выхода: на пятом этаже не наша, но тоже страшная квартира, а внизу между пролетами зияет подвал; я видела, или мне кажется, как в этом зиянии копошились голые пьяные тела, два мужских и одно женское, но во сне там всегда просто черная дыра и, как и во всем подъезде, нет никого живых, но есть только одно сплошное страшное присутствие, в котором все увязает. Это мое присутствие, ЭТО Я.

Последний раз до самого недавнего времени я была в Сургуте лет двадцать назад. Летом 2018 года меня пригласили на летнюю школу в Тюмень. От Тюмени до Сургута 800 километров, это день на поезде — почему бы и нет. Во-первых, в Сургуте у меня сестра. Во-вторых, прошлое вот так просто не скинешь, с ним надо разбираться, с ним надо научиться быть на ты. Так я решила. В-третьих, на самом деле хороших воспоминаний об этом месте у меня все-таки больше, чем плохих. Воспоминания о плохом и страшном, о смерти и вине обрывочны: я же их по возможности вытеснила, хотя некоторые сцены все-таки до сих пор стоят перед глазами. Зато хорошие — на поверхности. Воспоминания о необычном. Вещи, по которым я скучала двадцать лет, когда на вопрос «Откуда ты?» отвечала: «Я из Сургута».

Помимо скрюченных сосен, я скучала по тяжелому северному небу, настолько низкому, что в самые пасмурные дни оно, казалось, вот-вот упадет на голову. «Небо давит», — говорила мама, а я полюбила эту близость облаков. Северяне ходят глядя в пол, потому что из-за низкого неба солнце не над головой, а почти прямо по курсу, хотя оно и совсем неяркое; чаще всего это маленький, почти неразличимый мутный белый шар. Ночью небо становилось багровым от множества факелов, в которых сжигали попутный газ на ближних месторождениях. По вечерам в нашей тесной квартире собирались гости, сидели кто где; сестра играла на гитаре и пела: «Я несла свою беду по весеннему по льду», а мы подпевали.

Мама часто ездила в служебные командировки по району и брала меня с собой. Рано утром мы вставали, ехали еще в темноте на вертодром, садились в вертолет с вахтовыми рабочими

и летели на какую-нибудь газокompрессорную станцию, на стойбище или в национальный поселок оленеводов. Сургут стоит на болотах, дорог мало, поэтому для поездок по окрестностям вертолеты были самыми ходовыми. Подхватывая нас в труднодоступных местах, вертолеты не гасили лопастей, и нужно было изо всех сил держаться, пригнувшись к земле, чтобы не снесло ветром, особенно зимой на льду, а грохот стоял такой, что вены прыгали в висках. Поднимаясь по маленькому трапу, мы записывали в специальный блокнотик свои имена на случай аварии. Мы даже брали с собой кошку, когда не знали, с кем ее оставить; кошка терпеливо сидела у мамы на руках, выпучив глаза и прижав уши. Я прилипала к круглому иллюминатору и с высоты полета чуть выше птичьего смотрела на яркие желто-синие торфяники бескрайнего Севера.

Иногда фантазировала о том, как буду рассказывать про Сургут какому-нибудь парню из Москвы. Он бы мне, конечно, не поверил, потому что так не бывает. Я и сама сомневалась во всем, все казалось нереальным, включая бледное матовое солнце, будто исходящий из факельного неба едва ощутимый гул непонятно чего и, конечно же, нефть. Я думала, что нефть получается из динозавров, и представляла себе обратный процесс — как длинная, толстая, совершенно черная шея доисторического монстра с маленькой головой вырастает из нефтяного болота. Видела нефтяные разливы и выжженную черную землю вокруг — черные стволы деревьев, черный мох, черные кустики брусники. Мальчик, которого я любила в младших классах школы, стал нефтяником и погиб, сорвавшись с нефтяной вышки.

Несеверные территории России сургутяне называли Большой землей: вот там — да, все, наверное, было настоящим — и юность, и любовь, и песни под гитару во дворе. А у нас одиночество, вечная мерзлота, нефть и болота, никакой твердой почвы под ногами, никаких границ. Кончается лес, начинается тундра, непроходимые топи, за ними бывший ГУЛАГ, снежная равнина, Обская губа, а дальше край Света — серый и холодный Северный Ледовитый океан (его я никогда не видела, но чувствовала его бли-

зость). Ни закона, ни правил, ни опоры, ни надежды — ничего. Есть в этом что-то такое, мое.

На летней школе по философии в Тюмени, организованной Игорем Чубаровым и Александром Вилейкисом, я выступала с лекцией о нефти, которую рассматривала в связи с бессознательным, с нашей ископаемой древностью, с глубоким забвением: черная субстанция стала воплощением и возвращением вытесненной памяти земли. Когда школа закончилась, я села на поезд, идущий в северном направлении. Хорошо знакомый маршрут: с Большой земли в наши места проложена всего одна железнодорожная ветка; последняя точка на ней — Новый Уренгой. У станций вперемежку советские и старые остяцкие названия — Юность Комсомольская, Демьянка, Салым, Куть-Ях, Пыть-Ях, Ульт-Ягун, Когалым, Ноябрьск, Пурпе. Этим же поездом мы ехали в Сургут в 1985-м, и потом еще много раз туда и обратно, из самой Москвы, я колесила на нем по трое суток одна, будучи студенткой.

Самый главный участок дороги — железнодорожный мост через Обь на подъезде к Сургуту. Когда я увидела его в первый раз еще ребенком, я обомлела. В этом месте река широкая, как море, берегов не видно. Поезд долго и громко мчится по мосту над водой. Главное — не пропустить загадочный остров посередине. Я пью крепкий черный чай из граненого стакана с подстаканником и смотрю в окно. И точно, остров никуда не делся. Такое же головокружительное речное море, как и тогда. Плюс за те годы, пока меня не было, совсем рядом с железнодорожным построили новый автомобильный вантовый мост, один из самых длинных в России. Югорский мост, протяженность более двух километров. В мои годы автомобильного сообщения с Большой землей не было — только переправа, летом паромом, а зимой по льду. Совсем стемнело; моя сестра уже за рулем, едет встречать меня на вокзал; поезд приближается к городу, окруженному кольцом горящих в темноте газовых факелов.

Сургут стал совсем современным. Жизнеутверждающую и лаконичную социалистическую архитектуру вытеснило многоэтажное строительство, а на месте моего любимого леса за пар-

ком Нефтяников, уходившего в никуда, как бы образуя портал в бесконечность прямо из центра города, появилась окружная трасса. Но город все равно красивый; некоторые вещи как были, так и остались. Сестра повела меня в ботанический сад за рекой Саймой. В мое время там был не ботанический сад, а просто участок дикой природы с лесом, куда все, почти как сейчас, ходили гулять. Сейчас его облагородили, проложили дорожки. Как равнодушный человек и активный общественный деятель, сестра долго боролась за то, чтобы это место не закатали в асфальт.

Улица 50 лет ВЛКСМ находится недалеко от центра микрорайона Строителей, где всегда был большой магазин, дом культуры, спорткомплекс с бассейном и ресторан. Обнаружив все эти точки более-менее на своих местах, я пошла по дороге, которую помню очень хорошо. Направо во дворе — небольшая детская библиотека, где я однажды попросила книгу «Дикая собака Динго», но мне ее не дали, потому что я слишком маленькая. Налево — моя старая школа. Прямо — серые малосемейки. Я нашла свою. На подъезде появилась железная дверь с кодовым замком. Я стояла на крыльце (раньше на нем была лавочка, а теперь — нет) и вошла следом, когда кто-то, с подозрением на меня посмотрев, открыл дверь.

Внутри подъезд был совсем зеленый: зеленые стены, зеленые стеклоблоки на окнах, через которые проникал фантастический зеленый свет; пока я поднималась, держась за перила, по лестнице до двери страшной квартиры, у меня дрожали ноги и кружилась голова. Я поднялась выше, на пятый этаж, проверила все пролеты и никакого отдельного от своей памяти кошмара не обнаружила. Я больше не боюсь. Это мое прошлое, мой дом; он материален; темная злая сила, которая в нем поселилась, принадлежит мне, исходит от меня, а не от дома и его зеленых окон. Она такая же родная, как пульсирующая во мне кровь. Все на свете бывает хорошим и плохим, очень хорошим и очень плохим.



КАК БЫТЬ ОТСЮДА

В советской школе нас учили тому, что у каждого человека две родины — малая и большая. Малая — это родной город или деревня, а под большой подразумевалась страна. Малая и большая родина — это два уровня; на первом мы в качестве живых существ прикреплены к некоторому населенному пункту, а на втором в качестве граждан символически связаны с некоторым территориальным целым. И форма, и содержание этого целого могут меняться, граница — перекраиваться и смещаться, однако патриотическая машина работает непрерывно: когда моя большая родина — СССР — перестала существовать, малая — Казахстан — тоже как будто исчезла, стала чужой. В той же школе сразу стали учить любить новую страну, Россию. Эта дидактическая напряженность не осталась без внимания концептуальных художников. В 2005 году Дмитрий Александрович Пригов совместно с Ираидой Юсуповой и Александром Долгиным записали медиаоперу: под медитативную музыку с элементами русского фольклора Пригов долго уговаривает кота сказать вместе с ним «Россия». Кот сопротивляется, убегает, а художник терпеливо возвращает его на место и пытается учить. Я чувствовала себя, наверное, как этот кот: могла — и сейчас могу — сказать: «Россия», но это слово пришло в мой язык откуда-то издалека и прижилось далеко не сразу.

Предложение «научить родину любить» в российской культуре воспринимается как угроза. Первые ассоциации — насилие, дедовщина, пытки в колониях и СИЗО. О патриотическом воспи-

тании всерьез вспоминают тем чаще, чем ближе война. В такие моменты большая родина становится именем для идеологического нарратива, собирающего разнородные элементы в единый комплекс аффективной прошивки территории и населения. Она мобилизует и зовет подняться как один против реального или воображаемого врага. В пантеоне советской идеологии, как отмечает Ирина Сандомирская, Родина-мать выступала одним из главных божеств, которое требовало принесения человеческих жертв. Смерть на войне в рамках этого нарратива предьявлялась в качестве священной жертвы². Такая же риторика включается и в других государствах, когда они переходят в состояние военной мобилизации.

«Когда государство требует от человека умереть, оно называет себя родиной», — говорил Бертольт Брехт. В 1916 году, еще будучи подростком, когда в гимназии задали сочинение на тему, название которой было взято из Горация: «*Dulce et decorum est pro patria mori*» («Сладостно и почетно умереть за отечество»), он написал: «Утверждение, что умирать за отечество якобы сладко и почетно, можно рассматривать только как форму целеустремленной пропаганды. Расставаться с жизнью всегда тяжело как в постели, так и на поле боя, а тем более, конечно, для молодых людей в расцвете лет. Только пустоголовые болваны могут быть настолько тщеславны, чтобы говорить о том, будто легко проскочить в эти темные ворота, да и то лишь пока они уверены, что их последний час еще далек»³. За это его чуть не выгнали из гимназии.

Если бы мы не знали, кто такой Брехт, то легко могли бы ошибиться с выводами и принять эти высказывания молодого драматурга за выражение безразличия и полного отсутствия патриотизма (как бы мы к этому ни относились). Однако Брехт в высшей степени ангажированный автор, коммунист и антифашист. Суть его неприятия патриотического официоза и идео-

² Сандомирская И. Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик / Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 50. Wien 2001. — С. 175.

³ Копелев Л. Брехт. — М.: Молодая гвардия, 1966. — С. 15.

логии милитаризма, набравшей в это время в Германии стремительные обороты, не в том, что родина есть не что иное, как миф, придуманный пропагандистами, жадными до пушечного мяса. Просто родина не совпадает с государством и даже территорией, на которую официальные представители этого государства (на языке Брехта — угнетатели) наложили свою лапу. Родина — это не государство и не фюрер. Власть неправомерно присваивает себе ее имя, отождествляет себя с родиной, превращая землю в землевладение, а народ — в население. Машина угнетения и насилия задействует лживую высокопарную риторику, оболванивая и превращая людей в ура-патриотов и нацистов. Если любишь родину вопреки этой машине, надо взять на себя риск называть вещи своими именами.

В 1933 году, обращаясь из эмиграции к своим товарищам, немецким антифашистам, Брехт написал брошюру под названием «Пять трудностей пишущего правду». Брошюра представляла собой руководство для тех, кто решил говорить правду в мире, где правит ложь: «Каждому, кто в наши дни решил бороться против лжи и невежества и писать правду, приходится преодолеть по крайней мере пять трудностей. Нужно обладать мужеством, чтобы писать правду вопреки тому, что ее повсюду душат, умом, чтобы познать правду вопреки тому, что повсюду ее стараются скрыть, умением превращать правду в боевое оружие, способностью правильно выбирать людей, которые смогут его применить, и, наконец, хитроумным искусством распространять правду среди этих людей. Эти трудности особенно велики для тех, кто пишет под властью фашизма, но они ощутимы и для тех, кто изгнан из родной страны или добровольно ее покинул»⁴. Особое внимание Брехт уделил пятому пункту — о хитроумии: писать надо так, чтобы правду можно было прочесть между строк.

⁴ Брехт Б. Пять трудностей пишущего правду [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://unland.su/post/pravda.html> (дата обращения 15.10.19). Я благодарна Сами Хатибу за эту ссылку.

О том, что такое родина и патриотизм, рассуждают Циффель и Калле, персонажи его пьесы «Разговоры беженцев». Они пьют кофе и обмениваются крайне скептическими репликами. Один признается: «Мне всегда казалось удивительным, что люди должны питать особенную любовь к той стране, где они платят налоги»⁵. Другой связывает это долженствование с отсутствием выбора: «Как если бы человеку пришлось любить ту, на которой он женится, а не жениться на той, которую он любит. Я предпочел бы сначала выбрать. Скажем, показали бы мне кусочек Франции, клочок доброй старой Англии, парочку швейцарских гор или какой-нибудь норвежский фьорд, а затем я ткну пальцем и скажу: вот это я беру себе в отечество. Тогда бы я им и дорожил. А теперь дело обстоит так, как если бы человек больше всего на свете ценил то окно, из которого однажды вывалился»⁶. Это, конечно, очень хитроумная пьеса.

Русские говорят: «Родину не выбирают» — и выходят в окно. Сколько было волн эмиграции? Первая, вторая, третья и вот уже четвертая. Люди уезжают в другую страну, чтобы получить новый паспорт и начать новую жизнь. На новом месте распаковывают вещи, потом распаковывают сердце — а там родина, совсем не похожая на спущенное сверху и официально задокументированное единство власти и народа, от которого они бежали. Брехт, например, родился в немецком городе Аугсбурге и пятнадцать лет — с 1933 по 1948 — провел в эмиграции. Эмиграцию он называл высшей школой диалектики, а о своей родине писал следующее:

Я — Бертольт Брехт. Из темных лесов Шварцвальда.
Меня моя мать принесла в города

⁵ Брехт Б. Разговоры беженцев. Перевод под редакцией Е. Эткинда / Бертольт Брехт. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания: в 5 т. Т. 4. — М.: Искусство, 1964. — С. 10.

⁶ Там же.

Во чреве своем. И холод лесов Шварцвальда
Во мне останется навсегда⁷.

Вступая с родиной в отношения взаимного отрицания, эмиграция воссоздает ее через себя на новом месте, переучреждает ее локус. Родина не существует без своих людей, зато может свободно перемещаться вместе с ними по миру. Мы возим с собой холод своих лесов или широту своих степей. Распаковывая вещи на новых планетах, мы будем так же доставать и ставить на видное место свои маленькие чуйские пиалушки с Земли.

Мне всегда было сложно ответить на вопрос, откуда я. Что является моей большой родиной — Россия, СССР или Казахстан? С малой тоже никакой ясности. Постоянно перемещаясь из одного места в другое, как определиться с тем, какое из них, по какому праву и на каких основаниях должно называться родиной — деревня, где я родилась, степь, с которой связаны самые первые, радостные и сокровенные воспоминания детства, или город, в котором я провела все школьные годы? Дольше всего я прожила в Москве — в общей сложности пятнадцать лет, но сказать, что я из Москвы, язык не поворачивается. Москва не дает кому попало пустить в себя корни; коренные москвичи — особая закрытая группа, принадлежность к которой определяется по праву рождения, а мы там всегда будем оставаться приезжими. Но если очень захотеть, можно даже Москву признать своей родиной — как и любое другое место, которое окажется вам по душе.

Что значит для места оказаться по душе? Аристотель учил, что душа бывает трех видов — растительная (вегетативная), животная (чувственная) и человеческая (разумная). Душой он называл не то, что после смерти улетает на небо, а то, что делает живое живым. У растения, по мысли Аристотеля, есть только растительная душа, у животного — растительная и животная, а у человека имеются все три вида души, и по крайней мере первые две из

⁷ Копелев Л. Брехт. — М.: Молодая гвардия, 1966. — С. 5.

них, растительная и животная, неотделимы от тела. Растительная отвечает за питание и размножение, животная — за ощущение и движение, а разумная — за мышление. Гегель в качестве основного принципа различия между растительной и животной жизнью выделял движение: если растения благодаря корневой системе прикреплены к определенным местам, то животное первым же делом отрывается от земли и покидает свое место. Таким образом проявляется, по Гегелю, самостоятельность, или субъективность, животного, которое свободно определяет себя в выборе места. Животное с собой не совпадает, ему надо быть не только здесь, но еще и там.

Если объединить аристотелевское представление о трех душах человека и гегелевское определение растения через прикрепленность, а животного через отрыв от земли, то сосуществование в человеке животной и растительной души можно представить как диалектическую противоположность между стремлением попасть туда, экспансией, и желанием остаться здесь, осесть и пустить корни. Это не пассивность, не инертность, а желание другого рода: растение по-своему воплощает стойкость, упорствование в своем бытии, которое Спиноза называл *conatus essendi*. Когда я говорю, что родиной можно сделать любое место, которое окажется вам по душе, я думаю о процессе пускания корней. Оказаться по душе — значит зацепить ее самую интимную, растительную часть. Этой частью мы и прикрепляемся к любимейшей земле, но наша прикрепленность не абсолютна. Если мы оторвемся, растительная часть души, однажды пустившая здесь корни, не отомрет; она будет передвигаться вместе с нами как память о родине, даже если это память о напрочь забытом, которая не удерживает никакого образа, но только форму чувственности растения, неопределившееся зернышко.

Предположим, что содержательное наполнение разумной части души определяется уникальным для каждого человеческого существа способом синхронизации колебаний растительного и животного. Мы отрываемся, уходим, прикрепляемся в других местах, снова отрываемся, возвращаемся на прежние. В книге

«Что такое философия?» Делёз и Гваттари называют такие движения формированием территорий, детерриториализацией (снятием с места) и ретерриториализацией (закреплением на новом месте):

«Мы знаем, как важны уже у животных такого рода действия, состоящие в формировании территорий, которые затем можно покидать, выходить за их пределы и даже создавать себе новую территорию в чем-то совсем отличном по природе (этологи говорят, что для животного быть вместе с партнером или другом „все равно что быть дома“, а семья — это „подвижная территория“). Еще более это касается человекообразных: уже с самого рождения они детерриториализуют свою переднюю лапу, отрывают ее от земли и превращают в руку, которая затем ретерриториализуется в ветках и орудиях. В свою очередь, палка — это детерриториализованная ветка. Можно заметить, что любой человек — в любом возрасте, как в бытовых мелочах, так и в самых ответственных испытаниях, — ищет себе территорию, переживает или сам осуществляет детерриториализации, а затем ретерриториализуется практически в чем угодно — воспоминании, фетише, грезе. Эти мощные импульсы выражаются в припевах-ритуриделях: „моя хижина в Канаде“, „прощай, я уезжаю“, „да, это я, я должен был вернуться“ ...»⁸

⁸ Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия / Пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. — М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. — С. 33.

Тут важна одна очень интересная деталь. Делёз и Гваттари не говорят о пускании корней. Для них территория, детерриториализация и ретерриториализация в чистом виде определяют прежде всего жизнь животного, хотя они и относятся ко всему на свете, играя ключевую роль в социальной антропологии власти и общества, в анализе взаимоотношений полиса и родовой общины, империи и коренных народов, оседлости и номадизма, труда и капитала. Главное — это три вида движения, в опыте животного осуществляющие различие территории и земли. Мы метим свою территорию, обустроиваем жилище, ставим пограничные столбики и потом сами же выходим за них навстречу новой ничейной земле (детерриториализация), которую, возможно, снова назовем нашей (ретерриториализация). Животное — это метафора, персонаж, исполнитель своей особенной ритурнели (таким же персонажем является, например, беженец у Брехта, но это может быть и целый народ).

Понятие ритурнели очень важно: Делёз и Гваттари используют его для того, чтобы обозначить форму отношения животного к земле. У каждого зверя своя песня, которая оформляет или обозначает его территорию и вообще его место: это его ритурнель о доме, который на самом деле может быть чем угодно. Моей родиной или моим домом может быть эта степь, красная от маков, может быть это дерево, это болото, а можешь быть ты — и тогда я буду петь: «Я люблю тебя!» В моем понимании любить — значит прирасти, прикрепиться к чему-нибудь душой (растительной, животной, человеческой или какой-то другой, например машинной). В терминах Делёза и Гваттари речь идет о территориализации и ретерриториализации: я осела здесь, я трогаю землю и пою песню: это моя земля, я ее люблю. Именно из животных ритуалов закрепления территории рождается искусство:

«По-видимому, искусство возникает вместе с животными — по крайней мере, с момента, когда животное выделяет свою территорию и делает себе дом (то и другое взаимосоотносительно

или даже порой совпадает в понятии жилища-габитата). С появлением системы „территория — дом“ трансформируются многие органические функции — сексуальность, воспроизводство рода, агрессивность, питание, но возникновение территории и дома не объясняются этой трансформацией, скорее наоборот: территория означает появление чистых чувственных качеств, *sensibilia*, которые перестают быть лишь функциональными и становятся выразительными чертами, делая возможной трансформацию функций. Конечно, подобная выразительность уже наличествует в жизни в диффузном состоянии, и в этом смысле даже простой полевой цветок славит красоту небес. Но лишь с появлением территории и дома она становится конструктивной, воздвигая ритуальные памятники животной мессе, в которой восславляются качества, а затем из них извлекаются новые каузальности и финальное. Здесь-то и возникает искусство — не только в обработке внешних материалов, но и в позах и окраске тел, в пении и криках, которыми обозначается территория»⁹.

В качестве иллюстрации происхождения искусства из территориального самоопределения животного через ритуурнель Делёз и Гваттари приводят трогательный пример:

«Птица из влажных лесов Австралии *Scenopoietes dentirostris* каждое утро сбивает с дерева специально срезаемые ею листья, переворачивает их

⁹ Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия / Пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. — М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. — С. 81.

так, чтобы их бледная внутренняя сторона лучше контрастировала с землей, сооружает себе таким образом сцену наподобие ready-made и поет точно над этой сценой, сидя на лиане или древесной ветке, причем ее сложное пение состоит из ее собственных нот, перемежаемых звуками других птиц, которые певица передразнивает, демонстрируя желтизну своих нижних перышек на горле; настоящий артист. Тотальное произведение искусства намечается не синестетическими эффектами в плоти, а такими вот блоками ощущений на территории — красками, позами и звуками. Эти звуковые блоки представляют собой ритуرنели; но есть также ритуرنели пластические и красочные, и в ритуرنели всегда проникают позы и краски: поклоны и распрямления, хороводы, красочные детали. Ритурнель как целое есть существо-ощущение. Памятники суть ритуرنели. В этом отношении искусство вечно будет одержимо животным началом»¹⁰.

Не только искусство, но и философия определяется Делёзом и Гваттари через ритурнель:

«Что такое Отчизна или Родина, к которым обращаются мыслитель, философ или художник? Философия неотделима от некоей Родины, о чем свидетельствуют и априори, и врожденные идеи, и анамнесис. Но почему же эта отчизна оказывается неведомой, утраченной, забытой, почему мыслитель оказывается Изгнанником? Что мо-

¹⁰ Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия / Пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. — М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. — С. 81.

жет дать ему замену территории, где он был бы все равно как дома? Каковы философские ритуурнели о доме? Каково соотношение мысли с Землей?»¹¹

Философия ориентирована на поиск первоначала или истока, того места, откуда мы пришли. Априори, врожденные идеи или анамнесис играют роль трофеев, связывающих нас с этим местом, каким бы оно ни было. У Платона, например, это загробный мир. Именно оттуда, как поясняет Сократ накануне своей казни друзьям и ученикам, приходит душа со своими воспоминаниями, которые даны нам в качестве вечных идей — блага, справедливости и так далее¹². Душа в живом теле — посланница из царства мертвых, ни больше ни меньше.

Вера в то, что у нас есть исток, но он утрачен или забыт, снова и снова переводит философию в ностальгический регистр. Она повернута назад, в сторону дома, которого, возможно, никогда не было. Конечно, упоминая философские ритуурнели о доме, Делёз и Гваттари думают не столько о Платоне, сколько о Хайдеггере, который в книге «Основные понятия метафизики. Мир — конечность — одиночество» цитирует Новалиса: «Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома»¹³. Что значит «повсюду быть дома?» — задается вопросом Хайдеггер: «Не только здесь и там, и не просто на каждом месте, на всех подряд, но быть дома повсюду — значит всегда и, главное, в целом. Это „в целом“ и его целое мы называем миром. Мы существуем, и пока мы существуем, мы всегда ожидаем чего-то. Нас всегда зовет Нечто как целое. Это „в целом“ есть мир. Мы спрашиваем:

¹¹ Там же. — С. 33–34.

¹² Платон. Федон / Собр. соч. в четырех томах. Т. 2. — М., 1993. — С. 7–80.

¹³ Schriften. Hg. J. Minor. Jena, 1923. Bd. 2, S. 179, Fragment 21. Цит. по: М. Хайдеггер Основные понятия метафизики. Мир — Конечность — Одиночество / Пер. с нем. В. В. Бибикина, А. В. Ахутина, А. П. Шурбелева. — СПб.: Владимир Даль, 2013. — С. 28.

что это такое — мир? Туда, к бытию в целом, тянет нас в нашей ностальгии. Наше бытие есть это притяжение. Мы всегда уже так или иначе направились к этому целому или, лучше, мы на пути к нему. Но „нас тянет“ — это значит нас одновременно что-то неким образом тащит назад, мы пребываем в некоей оттягивающей тяготе. Мы на пути к этому „в целом“. Мы сами же и есть переход, „ни то ни другое“. Что такое это наше колебание между „ни то — ни то“? Ни одно, ни, равным образом, другое, вечное „пожалуй, и всё-таки нет, и однако же“»¹⁴.

Беда с Хайдеггером, по мысли Делёза и Гваттари, в том, что он неудачно «ретерриторализовался в нацизме». Ностальгия по истоку завела его не туда:

«Хайдеггер попытался вернуться к грекам через немцев в самый худший момент их истории: как говорил Ницше, что может быть хуже, чем ожидать грека, а встретить немца? Казалось бы, как не оказаться концептам (хайдеггеровским) внутренне оскверненными в результате столь низменной ретерриторализации? Но, может быть, вообще во всех концептах содержится та серая зона неразличимости, где борцы на миг сливаются на фоне земли и утомленный взгляд мыслителя может принять одного за другого — не только немца за грека, но и фашиста за творца свободы и экзистенции»¹⁵.

¹⁴ Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. Мир — Конечность — Одиночество / Пер. с нем. В. В. Бибихина, А. В. Ахутина, А. П. Шурбелева. — СПб.: Владимир Даль, 2013. — С. 28–29.

¹⁵ Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия / Пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. — М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. — С. 141.

Сама по себе ретерриториализация естественна и никакой ошибки в себе не несет: каждый ретерриториализируется в чем может, — но в случае Хайдеггера этот жест оказывается сопряжен с неправильным выбором: «Он неверно выбрал себе народ, землю, кровь»¹⁶, неверно выбрал родину и исток. Получается, что родину все-таки выбирают. Что можно выбрать себе и народ, и землю, и кровь. Вопрос о том, как можно любить родину, не становясь при этом фашистом или националистом, напрямую связан с вопросом о том, как правильно выбрать себе народ, землю и кровь.

Отталкиваясь от негативного примера Хайдеггера, Делёз и Гваттари предлагают свою версию ретерриториализации: надо быть не с народом с большой буквы, не с народом-победителем, от имени которого говорит государство с фюрером во главе, а с малым, с угнетенными и исключенными: «Ибо раса, которую призывают к себе искусство или философия, — это не та раса, что претендует на чистоту, но раса угнетенная, нечистая, низшая, анархическая, кочевническая, неизбежно находящаяся в меньшинстве»¹⁷. Речь идет совсем не обязательно о человеческой расе. Мыслитель объявляет своей родиной исчезающий вид или гонимое племя: «...становится индейцем, вновь и вновь становится им — возможно, „для того“, чтобы тот индеец, который действительно индеец, сам стал кем-то другим и вырвался из своей агонии. Мы мыслим и пишем даже для зверей. Мы становимся зверем, чтобы и зверь тоже стал чем-то иным <...>. Становление всегда двойственно, и именно в таком двойном становлении образуются грядущий народ и новая земля»¹⁸. Таким образом, правильной, верной является, по Делёзу и Гваттари, ретерриториализация в утопии, но не любой, а утопии будущего — в противоположность утопии прошлого. Мы объявляем своей родиной тот народ или ту землю, которых еще нет. Их надо не то чтобы

¹⁶ Там же. — С. 142.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же.

даже найти, а придумать, изобрести (как Кафка придумывает мышиний народ: становление мышью писателя нужно для того, чтобы вовлечь в становление мышь). Эта земля придумана для тех, кто выброшен из фашизоидного единства победоносного народа с большой буквы с государством и правительством или кто сам покинул обозначенную флажками этого единства территорию.

Хоть этого народа еще нет, можно вообразить себе кочевое племя изгнанников разного рода. Андрей Платонов собирает такой народ в повести «Джан»: «В нем есть туркмены, каракалпаки, казахи, персы, курды, белуджи и позабывшие, кто они <...>. Беглецы и сироты отовсюду и старые, изнемогшие рабы, которых прогнали <...>, женщины, изменившие мужьям и попавшие туда от страха <...>, девушки, полюбившие тех, кто вдруг умер, а они не захотели никого другого в мужья <...>, люди, не знающие бога, насмешники над миром, преступники»¹⁹. Когда герой узнает себя в этом описании и говорит: «Я там родился», утопический народ становится реальным. Удивительно, но литературе могут быть и правда под силу такие вещи.

Важно, что в отношении двойного движения де- и ретерриториализации мы не можем сказать, что первично: «Возможно, любая территория предполагает уже происшедшую детерриториализацию, или же они одновременны»²⁰. То есть, возможно, движение предшествует истоку или же его производит. При всей критике Делёза и Гваттари в адрес психоанализа Фрейда и Лакана, это замечание сближает территорию и детерриториализацию с идеей о том, что вытеснение идет рука об руку с возвращением вытесненного: до вытеснения вытесненного не существует; вместе с вытеснением вытесненное сразу возвращается, причем

¹⁹ Платонов А. На заре туманной юности. — М.: Советская Россия, 1990. — С. 18–19.

²⁰ Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия / Пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. — М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. — С. 89.

возвращается не откуда-то, а из ниоткуда, из небытия. Никакого предшествующего вытеснению бессознательного материала нет. Бессознательное — наша животная душа — схвачена в этот круг ретроактивности истока: он возникает задним числом.

У растения все по-другому, поэтому оно может нас сильно запутать. Ну и пусть. Дело в том, что жизненный цикл растения не предполагает сдвигания с места. Полевой цветок не играет ригурнель, даже если славит красоту небес. Он никуда не уходил; он прикреплен к земле напрямую без опосредования территории, которую он должен был бы за собой закрепить. У животного совсем не то же отношение к истоку, что у растения. Обретаться на какой-то территории — совсем не то же, что произрастать из земли. Можно сказать, что животная форма жизни полагает свой исток задним числом: животному надо уйти, чтобы вернуться сюда или куда-то еще. Мы всякий раз возвращаемся на новое место (а если возвращаемся на то же самое, оно уже обновлено нашим возвращением).

Делёз и Гваттари ограничивают отношение к земле и территории движениями животных, совсем не думая в этой связи о растении. Это, конечно, оправданно, ведь именно на метафору растения — изначальной прикрепленности к месту, произрастания — опираются ностальгические представления о большой и малой родине. Ультраправая идеология, консерватизм, почвенничество и национализм основаны на слишком буквально воспринятом образе уходящего корнями в землю человека-растения, который, обрети он реальную плоть, оказался бы совершенно нежизнеспособным. Единственное место, к которому мы изначалью привязаны посредством пуповины, — это плацента. Наша жизнь как отдельных существ начинается с отрезания пуповины. В первое время мы еще несамостоятельны и беспомощны, хотя иные млекопитающие приступают к активному движению сразу же, как только покидают тело матери. На язык психоанализа поэтому ригурнели о доме и утраченном рае, включая поиски забытого истока философской истины, переводятся как тоска по материнской утробе, которая в конечном итоге совпадает с вле-

чением к смерти (в обратном переводе на философский — Хайдеггер определяет ностальгическую тягу к целому через конечность как «фундаментальный способ нашего бытия»). Мы хотим, чтобы Родина-мать родила нас обратно.

Животное помогает Делёзу и Гваттари блокировать фашизоидные тенденции мысли. Логика снятия с места и обустройства на территории ложится в основу новой геофилософии, для которой принципиальным является перенос утопии из прошлого в будущее. Мне, однако, не дает покоя растительная часть души, пускающая корни тут и там. Ей как будто бы отказано в праве на существование: мы становимся транснациональными, как капитал, летаем на самолетах, ночуем в гостиницах, пересекаем границы и повсюду бродим как туристы. Родины как будто бы нет и быть не должно. Сандомирская, например, нарратив не только о большой, но и о малой родине разоблачает как опасный миф, реконструируя традиционные советские ритуартели:

«Детство героя проходит в малом пространстве — чаще всего в деревне. Это малое пространство — родной дом / кров, отчий дом / кров, родная деревня, родное село, родные места. Это пространство населяют родные и близкие, родная мать, родной отец; его защищают родные стены. Вокруг героя все родное — родные голоса, родные лица, родные обычаи. В родных местах его окружает родная природа: родные русские березки, родные леса и поля. Над головой — родное небо, куда ни кинь взор — бескрайние родные просторы, привольно дышится родным воздухом. Все это — родная сторона (сторонка, сторонушка), малая родина. Герой вырастает и покидает родные места. Его влечет новая жизнь, новые возможности, мир детства кажется тесным. Он переезжает в город и начинает новую жизнь в мире, где все чужое, незнакомое. Однако в мыслях он все время возвращается к воспоминаниям детства.

Его тянет / влечет на родину. Переехав в город, он оторвался от корней, потерял связь с почвой, не может пустить корни, его, подобно растению, пересадили на новую почву, и он чахнет»²¹.

Сандомирская называет описанную фигуру «перекати-полем». Однако это не совсем точная метафора. В строгом смысле перекати-поле не чахнет, будучи оторвано от корней. Большие шары, которые катятся по степи или полю на ветру, образуются при отмирании растения. Высохшие стебли отрываются от корня или прямо вместе с корнем движутся, цепляя на себя другие попадающиеся на пути растения и рассеивая семена. Это активное мертвоживущее образование. Никакой тоски по корням у него нет и быть не может. Перекати-поле, оторвавшись от своего места, переходит в новую форму бытия. Как растение оно мертво, но в то же время движется и размножается на лету, подобно причудливому животному.

Этот сложный образ служит очень простой цели: продемонстрировать наличие в культуре — не только советской, но и мировой — базовой модели странствия человеческой жизни как отрыва от корней и подвязанной к ней идеи, что к корням можно вернуться, припасть и даже прикрепиться заново. Представление о том, что у человека есть подлинный, истинный корень, предшествующий всякому движению, в реальности ничему не соответствует. Мы не стоим на земле подобно деревьям (учитывая, что корень у растений — это аналог головы, держаться корнями в буквальном смысле означало бы стоять вверх ногами лицом в земле).

Однако это не значит, что вся традиция ритурунелей о малой родине должна быть отброшена. Совсем наоборот. Родина слишком поспешно была отдана на откуп тем, кто всегда готов закрепить ее за собой, пометить в качестве своей территории, построить стену и развязать войну. Они же присвоили себе и принцип

²¹ Сандомирская И. Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик / Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 50. Wien 2001. — С. 53.

укорененности, связав его с изначальностью истока и того, что здесь было до нас (кто-то уже объявил эту землю своей территорией, и нам остается только вращать в нее мертвыми телами). Знакомая ритуальность: пора вернуть эту землю себе.

На самом деле мы еще не понимаем, что такое растение, растительная душа, и на что она способна. О политике растений говорят совсем немногие. Среди них — Майкл Мардер, посвятивший немало работ растительной форме жизни. В эссе «Сопrotивляйся как растение!» он приводит в пример защитников природы, привязывающих себя к деревьям, которые хотят вырубить. В каком-то смысле эти активисты воспроизводят форму существования этих деревьев — стойкость, привязанность к месту. Такой же прямой перенос растительной формы сопротивления в политику представляет собой движение *Оссиру* и близкие ему формы протестного захвата территорий. «И когда протестующие разбирают палатки в парках или на городских площадях, они переизобретают странную современную укорененность в выкорчеванном мире мегаполиса, экзистенциально выражая свое несогласие одним простым своим пребыванием здесь»²². Решение остаться здесь, не уходить, принимают рабочие, которые выгоняют начальников и занимают завод, или студенты, захватившие здание университета. Когда в 2018 году в районе станции Шиес Архангельской области решили уничтожить километры лесов и болот, чтобы построить мусорный полигон, люди встали на защиту своей земли и сказали, что не уйдут. Их арестовывали, штрафовали, били — а они не уходили; люди вращали в землю, как лес, за который и вместе с которым они стояли и который тяжеловооруженная государственно-корпоративная машина хотела превратить в помойку. Еще один пример из многих — защита шихана Куштау в августе 2020-го: люди встали горой за гору.

²² Marder M. Resist like a plant! On the Vegetal Life of Political Movements // Peace Studies Journal. Vol. 5. Issue 1. January 2012, p. 24.

Конечно, у такой политики есть свои ограничения: что по-настоящему укоренено и, может быть, неискоренимо — так это система угнетения и захвата, против которой восстают люди и деревья. Если русский привяжет себя к дереву, его могут спилить вместе с деревом. В борьбе с таким врагом хороши все средства: если тебе не дают любить родину как человеческое существо, если враг гонит тебя, люби ее как растение — стой, сопротивляйся, расти; или же люби ее как зверь — двигайся, нападай или беги, но не оставляй им свою родину; спрячь ее в своем сердце и заведи с собой туда, куда отправляешься.

Надо любить родину так, чтобы и земля, и растения с корнями были на нашей стороне, как это бывает в партизанской войне, когда не только люди, но и лес, и гора, и травы, и звери — все вместе поднимаются на борьбу. Такая война совсем не похожа на ту, которую наше государство ведет с соседним: партизанскую войну объявляет не власть, а совсем не тождественный с ней народ, состоящий из всех живых существ, обретающихся на этой земле. Стог сена спрячет мою прабабушку, дерево будет стоять на пути, зверь напугает, болото затянет того, кто пришел сюда убивать. Кроме партизанского сопротивления, есть еще незаметное, тихое сопротивление мирных жителей — тех, кто не уходит, когда кто-то ведет войну на их земле. Они не могут или не хотят уходить: у них здесь дом, корова, собака, огород, который некому будет поливать, если они снимутся с места и станут беженцами. Мирные жители остаются здесь, потому что они пустили корни; они живут мирно вопреки войне.

За родину надо бороться хитростью и правдой, как предлагал Брехт. Наша изначальная животная неукорененность, или безродность, делает тем более ценным тот самый внутренний Шварцвальд, который мы носим с собой. Он и есть растительная часть души, обладающая способностью не просто ретерриториализоваться на манер животного, но и пускать корни подобно растению. Не обязательно свои: можно создать творческий альянс из животного и растения и засадить цветами землю, которая нам по душе. Поперек всех государственных границ, прикрепляющих

нас к определенной территории по форме протокола, любовь к родине должна быть свободной любовью — такой, чтобы, всякий раз возвращаясь на новое, небывалое место, каждый из нас мог бы сказать: «Я отсюда».

Санкт-Петербург — Берлин, 2019–2020

БЛАГОДАРНОСТИ

Этот текст был написан для издательского проекта *Kaуfa ta*, за приглашение к участию в котором я благодарна Але Йюнис и Махе Маамун. Также благодарю Фурката Палван-Заде, Кирилла Роженцова, Константина Корягина и сигму за работу над русскоязычной публикацией; Сами Хатиба за обсуждение первоначальной идеи, Булата Ханова за чтение черновика и важные советы, Кульшат Медеуову за путешествие в Казахстан, Ханну Хурциг за поездку в Сибирь, Игоря Чубарова и Владимира Вельминского за то, что составили мне компанию в Кожевникове, мою маму Галину Бобровскую, сестру Елену Гончарову и мужа Андрея Змеула за любовь и заботу.

Изображение на обложке было создано на основе фрагмента видео, сделанного 18 ноября 2019 года на станции Шиес, когда десятки людей, взявшись за руки, встали стеной вдоль железной дороги.



Сигма — это открытая платформа для публикации текстов о человеке, культурных явлениях и обществе, а также инициатива, направленная на исследование способов производства знания и организации людей. Книга издана при поддержке патронов, финансирующих развитие проекта.

Подробнее — на сайте sig.ma

Отпечатано в типографии «Август Борг»

Тираж 500 экз.

Издательство «сигма», г. Москва

